

НИК ТАРАСОВ



ТРЕТИЙ

ЗАХОД



Ник Тарасов

Третий заход

<https://litres.ru/74381699>

SelfPub; 2026

Аннотация

О чем эта книга? О друзьях. О жизни вокруг и, казалось бы, о таких мелких вещах, которые каждый из нас может сделать, чтоб эта жизнь стала чуточку лучше. Три линии героев, где каждый может увидеть себя со стороны. Или, если не себя, то своего знакомого как минимум. Будет о чем подумать. Юмор, быт, интриги, простые решения сложных проблем.

Содержание

Глава 1. Четверг	4
Глава 2. Тридцать человек и один крайний	17
Глава 3. Смена	30
Глава 4. Директор по развитию.	43
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Ник Тарасов

Третий заход

Глава 1. Четверг

Санёк — Александр Ковалёв, наладчик станков с ЧПУ

Есть у меня примета: если в четверг с утра всё валится из рук — значит, вечером будет хорошая баня. Проверено без малого двадцатью годами и ни разу не подвела. Сегодня с утра у меня из рук валилось всё, включая ключ на семнадцать, который я уронил в поддон со стружкой и доставал оттуда, как хирург осколок, — так что баня обещала быть выдающейся.

Я вышел с проходной в шесть, воздух после цеха был сладкий, как компот. У остановки мужики из ремонтного спорили, кто виноват, что «пятёрка» опять встала, — я на ходу вставил, что виноват, как обычно, тот, кто в отпуске, мужики заржали, и я пошёл к маршрутке довольный собой. Артист без зала не живёт.

Дома я успел ровно на два дела: поцеловать Наташку и получить от неё пакет — «там рыба, солёная, по рецепту отца твоего». Ещё я наступил в прихожей на Викину куклу, которая крякнула подо мной так, что дочь выскочила из комна-

ты с воплем: «Папа, ты раздавил Марусю!» Маруся, к слову, оказалась живучей, как весь их пластмассовый род, — крикнула и дальше лежит, улыбается. Я тоже так умею.

— Опять до одиннадцати? — спросила Наташка для порядка, без нажима. Четверг в нашей семье — величина постоянная, как платёж по ипотеке. Двадцатого — банку, в четверг — в баню. По этим двум точкам можно календарь сверять.

— Наташ, ну ты чего. Как штык к одиннадцати. Ну к половине двенадцатого.

— Рыбу не забудь. И Тёме скажи, что за веники я денег не возьму, у мамы этих веников — сарай ломится. Дуб, берёза, эвкалипт и этот ваш можжевельный, от которого вы все чешетесь, но терпите, потому что мужчины.

Вот за это я жену и люблю. Двадцать лет — а формулировки всё точнее.

До Тёминого посёлка от нас сорок минут, если без пробок, и час десять, если по-человечески. Я ехал по-человечески, слушал, как в пакете шуршит рыба, и думал о том, о чём каждый четверг думаю на этой дороге: как вышло, что нас трое, что мы с института не рассыпались, хотя по всем законам природы должны были. Люди после выпуска расходятся, как круги по воде, — сначала созваниваются, потом лайкают, потом поздравляют с днём рождения на автомате, а потом встречаются на похоронах общего знакомого и говорят: «Надо чаще видеться». Мы удержались. Причина у это-

го простая и смешная: в две тысячи шестом, на выпускном, пьяный Игорёк встал с бутылкой «Жигулёвского» и сказал: «Клянёмся. Раз в неделю. Что бы ни было». И мы поклялись, потому что были пьяные и молодые. А потом оказалось, что это единственная клятва из всех, которые я в жизни давал, которую оказалось легко держать. Легче, чем не держать.

Посёлок у них называется «Сосновый берег», хотя сосны там три штуки, а берега нет вообще. Зато есть шлагбаум и охранник Володя, который меня знает и всё равно каждый раз спрашивает: «К кому?» Я каждый раз отвечаю по-разному. Сегодня сказал: «К людям, Володя. Просто к людям» — и Володя кивнул так, будто я назвал номер дома.

Тёмин дом за поворотом — большой и чужой. Так его называл сам Тёма, тихо, после четвёртой: «Хороший дом. Жалко, не мой». Мы тогда с Игорем переглянулись и промолчали, потому что есть вещи, которые в лоб не обсуждают, — их обсуждают, когда человек сам созреет. Тёма зреет двенадцатый год.

А вот баня — баня у них своя. То есть юридически она тоже, конечно, тёщина, как и всё в радиусе гектара, но по факту — наша. Потому что главное в бане — кто в ней сидит. Сруб — дело наживное.

Тёма встречал у ворот, в валенках на босу ногу и в куртке поверх простыни — он всегда затапливает заранее и к нашему приезду уже наполовину готовый, распаренный и добрый. — Санёк, — сказал он и обнял меня вместе с рыбой. —

Игорь звонил, опаздывает. Планёрка у них.

— В семь вечера планёрка? — Я присвистнул. — Тём, такое в приличных местах называется сектой.

— Ну, у них сейчас период такой.

— У них, — говорю, — период такой с две тысячи девятнадцатого года. Затяжной.

В предбаннике было уже тепло, пахло дубовым листом и немножко дымом — Тёма топит по-хитрому, у него там какая-то финская система, но он в неё специально подкидывает пару поленьев «для духа». Тёща, когда баню ставили, требовала «всё электрическое, чтоб без этой вашей сажы», и Тёма — единственный раз на моей памяти — упёрся. За печку он воевал, как за Сталинград. Печку отстоял. Я иногда думаю: вот бы он ещё за что-нибудь так.

Я выложил рыбу, достал из шкафчика свою простыню — у каждого своя полка, у меня средняя, — и увидел на столе новый берестяной короб — красивый, с крышкой.

— Это чего?

— Это Лера подарила. — Тёма чуть смутился, как всегда, когда речь про его семью. — Для телефонов. Я рассказал ей про наше правило, ей понравилось. Говорит, у вас, оказывается, там регламент строже, чем у мамы в совете директоров.

— Так и есть, — сказал я и первый торжественно опустил свой телефон в короб. Телефон звякнул о сухую бересту, как монета о кружку. — Взнос принят. Кто следующий?

Правило с телефонами у нас с две тысячи шестнадцатого,

и появилось оно не на пустом месте. До этого Игорёк умудрялся отвечать на рабочие письма между заходами, сидя в простыне, красный, как варёный, и тыкая в экран распаренным пальцем. Однажды он в таком виде согласовал отгрузку в Нижневарттовск вместо Нижнекамска, неделю потом разгребал, и мы с Тёмой ввели закон: телефоны лежат в предбаннике. Доставать можно один раз за вечер и только по делу. «По делу» — это у нас имеет специальное значение, но об этом позже.

Игорь приехал в четверть десятого. Я услышал, как хлопнула дверца, и по одному этому хлопку понял: довели человека, называется. Он вошёл в предбанник в костюме — в четверг, в баню, в костюме, — с лицом цвета мокрого асфальта, и первое, что сделал — посмотрел на часы, мимо нас.

— Так, — сказал я. — Гражданин, вы к кому?

— Извини. — Он стянул галстук, как удавку. — Костина собрание устроила. В семь вечера. Знаешь, как называлось? «Синхронизация по итогам недели». Час двадцать синхронизировались. Итог синхронизации: во всём виновата логистика.

— А логистика — это ты.

— А логистика — это я.

— Телефон, — сказал Тёма мягко и подвинул короб.

Игорь посмотрел на короб, как алкаш на кассу в понедельник. Достал телефон, что-то в нём быстро дотыкал — «всё-всё, последнее», — и положил. И я видел, чего ему это сто-

ило. У человека тридцать подчинённых, три начальника и ноль права на ошибку — по крайней мере, так это выглядит у него в голове. Телефон в коробе тут же завибрировал. Игорь дёрнулся. Мы с Тёмой посмотрели на него. Он сел и стал расшнуровывать ботинки.

— Молодец, — сказал я. — Держись, родной. Первые сутки самые тяжёлые.

Первый заход у нас — молча. Это тоже закон, только его никто не вводил, он сам завёлся, как заводится хороший обычай. Заходим, ложимся-садимся, и минут десять — только печка потрескивает да Тёма ковшиком шурует. Я это называю «выгнать неделю из костей». Неделя выходит из человека паром, и по тому, сколько её выходит, видно, какая была неделя. Из Игоря сегодня неделя выходила долго. Он лежал на верхнем полке, закрыв лицо руками, и молчал глубже обычного.

Зато на втором заходе человека отпустило, и пошло у нас святое — ерунда. Второй заход — это ерунда в чистом виде, а ерунда, между прочим, самое недооценённое из всего, что есть между людьми. Обсудили: почему «Гранта» жрёт масло (моя), сколько стоит нормальная зимняя резина (Игорева печаль — ему по статусу положено не ниже определённой цены, и он сам над этим ржёт, но покупает), где Санёк берёт такую воблу, и правда ли, что сосед Тёмы по посёлку поставил забор из лиственницы за миллион двести. Тёма сказал — правда, и что тёща уже спрашивала, почему у них забор

хуже. Слово «тёща» пролетело у него быстренько, бочком — так проходят мимо знакомого, с которым не хочется здороваться. Но мы заметили. Мы всегда замечаем. Просто не всегда ловим — есть время ловить и время отпускать.

А потом Игорь разлёгся на средней полке и говорит:

— Мужики, у меня новый цирк на работе. Взяли ж девочку в отдел. Умненькая, после универа, зовут Настя. Так мои гвардейцы её съестть решили.

— В смысле съестть? — спрашиваю.

— Ну как. — Игорь хмыкнул. — Классика жанра. Петровна — ну, я рассказывал, гранд-дама клиентского направления, двадцать лет стажа, всех переживёт — при ней свита. И у них теперь любимое развлечение: девочка спрашивает — ей не отвечают. Девочка сделает — переделывают молча и со вздохом. На обед всей стайкой уходят, её не зовут. А на той неделе — вообще анекдот: Настя отчёт подготовила, хороший отчёт, я смотрел. Так Петровна его завернула, потому что — внимание — «у нас так не принято оформлять». Цифры в порядке — придрались к оформлению, к шрифту, к полям. Девочка теперь сидит красная и молчит целыми днями.

Он смешно рассказывает, гад, у него это с института: когда про работу — хоть стой, хоть падай. Я ржал в голос, Тёма улыбался и подливал на камни. Вода уходила в них с сухим выхлопом, и пар шёл сверху вниз, по заливке.

— Нежное поколение, — сказал Игорь, потягиваясь. — Мы же как-то вживались? Меня в первом отделе знаешь как

гоняли? За пивом для всего этажа бегал. И ничего, человеком вырос.

— Ну да, — говорю. — Человеком. С давлением сто пятьдесят на сто.

— Давление у меня от синхронизаций, Санёк. Пиво тут ни при чём.

— А девочка-то эта, Настя, — подал вдруг голос Тёма со своего места у печки.

В чужие рабочие дела он лезть не любит, обычно сидит себе с ковшиком и помалкивает. А тут спросил:

— Она вообще как? Ну, сама по себе. Тянет?

— Тянет, — сказал Игорь, не задумываясь. — Голова светлая. Я тот завёрнутый отчёт читал сам, от корки до корки. Ошибок ноль. За одно лето разобралась в таких вещах, до которых у некоторых десять лет руки не доходят.

— А-а, — сказал Тёма и снова плеснул на камни. — Ну тогда понятно.

— Что понятно?

— Да так. — Он пожал плечами, и по нему было видно, что не «так», но развивать он не будет. Тёма никогда не развивает. Он у нас как хорошая приправа — его чуть-чуть, но послевкусие долгое.

Посмеялись. Пар сделал своё дело, история ушла, как уходит любая история второго захода, — в потолок, вместе с паром. Тогда я ещё не знал, что она вернётся. У нас так бывает: байка, рассказанная на втором заходе как смешная, на

третьем заходе другого четверга вдруг оказывается совсем не смешной. Как будто ей надо отлежаться, как мясу.

Между заходами пили Тёмин квас — у него квас такой, что я бы за один рецепт тещу терпел, честно, — ели мою рыбу, и Игорь, уже человеческого цвета, рассказывал, как его Митька нахватал двоек по русскому, но зато собрал какую-то программу, которая сама делает домашку по информатике, и теперь Игорь не знает, ругать его или оформлять патент. Я сказал — оформлять, и пусть братву в классе подключает по подписке, пацан с деловой жилкой. Игорь сказал, что я плохо влияю на молодёжь. Я сказал, что молодёжь на меня влияет хуже: Лёха мой вчера спросил, что такое «кассета», и я почувствовал себя экспонатом.

Между вторым и третьим заходом мы вышли на крыльцо — остыть. У нас так заведено с незапамятных времён: стоим втроём в простынях, от нас идёт пар столбом, а над посёлком висят звёзды. В городе звёзды съедают фонари. Тут над головой висит весь преysкурант. Октябрьский морозец, и распаренной коже он только в удовольствие.

— А помните, — сказал вдруг Тёма, — как мы в общежитии ходили по четвергам? Когда горячую воду давали.

— Это когда Игорёк с комендантшей договорился, что нам можно после одиннадцати? — Я хмыкнул. — Ещё бы не помнить. Я к вам после смены приезжал мыться, у меня дома тогда воду вечно отключали. Ты ей курсовую по экономике сделал, а сказали, что это Игорь сделал, потому что у Игоря

лицо надёжнее.

— У меня и сейчас лицо надёжнее, — сказал Игорь с верхней ступеньки. — Мне с этим лицом уже четвёртый год ипотечные брокеры звонят. Чуют.

— Лицо тут ни при чём, Игорёк. У них база данных утекла.

Постояли тихо. Есть тишина, которая идёт за разговор, — вот эта была из таких. У нас за двадцать лет накопились целые тома такого разговора.

— Двадцать лет, мужики, — сказал Тёма тихо, в звёзды. — В июне будет двадцать лет выпуска. Соображаете?

— Не пугай, — сказал я. — Мне и так Лёха вчера объяснил, что я родился в прошлом веке. Говорит: пап, ты литералли из тысяча девятьсотых. Литералли, Тём. Я — литералли.

Игорь засмеялся, и я отметил про себя, что за вечер это первый раз, когда он смеётся всем собой, вместе с глазами. Значит, баня работает и топлено не зря.

Вернулись в предбанник. Тёма наливал. Себе — не квас. Он вообще-то у нас по этой части аккуратный на людях, но я давно засёк: наливает он себе как-то... по расписанию: щёлкнет у него что-то внутри — и рука сама тянется. Вот сейчас — про забор поговорили, про тещу проскочило — щёлк, и рука сама к бутылке. Я это вижу, потому что двадцать лет смотрю. Игорь не видит, потому что Игорь после своей конторы вообще мало что видит, кроме потолка. Гово-

ритель я ничего не стал. Не время. У нас в бане с этим строго: не время — молчи, придёт время — скажется само.

Третий заход — по делу. Это главный наш закон, и он один стоит всех остальных. Первые два захода можно ржать, спорить про резину и врать про рыбалку, но третий — если у кого-то есть что сказать, говорится на третьем. Не перебивать, пока человек не скажет «ну и вот». Советов не давать, пока не спросит «ну и чё делать». Что сказано в парной — остаётся в парной. Всё.

Сегодня третий заход был тихий. Игорь полежал, посопел и сказал только:

— Устал я что-то, мужики. Вот прям... — он пошевелил пальцами, подбирая слово, и не подобрал. — Устал.

— Ну и вот? — спросил я осторожно.

— Ну и вот, — согласился он, и мы поняли, что дела сегодня не будет. Не созрело. Тоже нормально. Баня — она как рыбалка: не каждый четверг клюёт.

Разъезжались в двенадцатом часу. Тёма стоял у ворот в своей куртке поверх простыни и махал — он всегда провожает до машин, такое у него... гостеприимство человека, которому больше негде быть хозяином. Игорь перед выездом полез в короб за телефоном, глянул в экран — и я увидел, как у него дёрнулась щека. Восемнадцать пропущенных. Я сам видел цифру, через плечо.

— Игорёк, — сказал я ему в открытое окно. — Восемнадцать пропущенных в одиннадцать вечера — это не работа.

Это диагноз. Причём не тебе.

— Угу, — сказал он и стал перезванивать, не выехав с участка.

Я ехал домой по пустой дороге и вёз в себе то самое четверговое, ради чего всё: тепло в костях, соль на губах и лёгкость. На заправке у поворота взял Наташке шоколадку — по случаю четверга. Кассирша, зевая, спросила: «Пакет нужен?» — я сказал, что мне нужен отпуск, но давайте начнём с пакета. Она засмеялась. Люблю, когда люди смеются на ночной смене: им нужнее. Наташка не спала — она никогда не засыпает, пока я не приеду, хоть и делает вид. Спросила сонным голосом:

— Ну как мужики?

— Тёма — грустный. Игорь — загнанный. Я — красавец.

— Ничего нового, — сказала жена и уткнулась мне в плечо. — Рыбу-то съели?

— Смели. Твой засол вне конкуренции.

Она засопела довольная. А я лежал и почему-то думал про Игоря. Как он дёрнулся на вибрацию. Как перезванивал с участка, еще даже не выехав. Кому он там был нужен в одиннадцатый вечера, какой такой Костиной. У меня на заводе просто: смена кончилась — всё, Санёк недоступен, станки по ночам не плачут. А у него, выходит, ночная жизнь устроена по-другому. Каждый вечер.

Засыпая, я решил, что в следующий четверг вытащу из него это «устал» на третьем заходе. Клещами вытащу. У ме-

ня и клещи есть.

Знать бы мне тогда, какой он будет — следующий четверг.

Но это я вперёд забегаю, а вперёд забегать у нас в бане тоже не принято.

Глава 2. Тридцать человек и один крайний

Игорь Крылов, начальник отдела логистики холдинга «Меркурий»

Будильник у меня стоит на шесть десять, но просыпаюсь я в шесть ноль четыре. Каждый день, шесть лет подряд, организм срабатывает раньше будильника, как будто боится, что его уличат в опоздании. Я лежу шесть минут в темноте, слушаю, как дышит Оля, и составляю в голове список. Понедельник — список на неделю, остальные дни — список на день. Сегодня четверг, значит, список короткий, потому что вечером баня, а баня — это единственный пункт в моей жизни, который не переносится. Всё остальное переносится. Отпуск переносится четвёртый год, стоматолог сдвинут трижды, а по разговору с сыном я давно потерял счёт.

В шесть сорок я выезжаю. Наш город по утрам — это очередь из машин, в которых сидят люди, которые не выспались, и все едут делать вещи, которые не хотят делать, чтобы платить за машины, в которых сидят. Я это сформулировал как-то Сане, он заржал и сказал: «Игорёк, ты почти дорос до анекдота, ещё немного — и станешь человеком». Смешно ему.

По дороге я слушаю голосовые от Шевцова — они у меня вместо музыки. Шевцов — мой непосредственный, директор департамента, — записывает голосовые по ночам. У него бессонница, а у меня, соответственно, утренняя рубрика: семь голосовых, самое короткое — минута сорок. Суть всех семи сводится к одному: «Игорь, проконтролируйте». Проконтролировать нужно то, что я проконтролировал вчера, о чём отчитался позавчера письмом, которое он не прочёл, потому что читает только то, что ему пересылает Костина. Такой у нас документооборот.

Офис «Меркурия» — одиннадцать этажей стекла. Логистика на четвёртом. Захожу в восемь двадцать: по опенспейсу уже плывёт запах кофе и вчерашних отчётов. Мои тридцать человек уже на местах. Я, когда прохожу утром между рядами, знаю про каждого всё, чего не пишут в личных делах: у Семёныча теплица и внуки-двойняшки, у Маринки из клиентского мать после операции — потому и отпрашивается по средам. Дэн наверняка опять взял кофе в долг в автомате — там можно, если знать нужную кнопку и не стесняться. Между этими рядами, в восемь двадцать утра, я почти счастливый человек, у которого есть своя маленькая страна. Это чувство живёт минут десять. До планёрки.

Планёрка у Костиной по четвергам в девять. Зал на третьем, стеклянный, его у нас называют «аквариум», и это точное название: все снаружи видят, как ты тонешь, и никто не может помочь.

Костина — заместитель генерального. Ей пятьдесят два, у неё безупречный блейзер, безупречная укладка и голос, которым можно резать металл. Говорят, двадцать лет назад она была лучшим закупщиком города. Верю. Она и сейчас закупает — только теперь оптом покупает наши четверговые утра.

Сегодня в повестке — «итоги месяца по цепочке поставок». Перевожу на русский: будут искать, кто виноват в срыве сроков по трём северным магазинам. Я знаю, кто виноват, — сроки сорвал перевозчик, которого продавил Быков, наш коммерческий директор, вопреки моей служебной записке. Записка у меня с собой. Лежит в папке. Папку я сжимаю, как гранату.

— Начнём с приятного, — говорит Костина, листая слайды. — Показатели доставки по городу выросли на одиннадцать процентов. Отличная работа коммерческого блока. Аркадий Петрович, поздравляю.

Аркадий Петрович — это Быков. Он кивает с достоинством: заслужил — принимает. Одиннадцать процентов — это моя работа. Это мы с Семёнычем в августе перекроили маршруты по городу, я три субботы просидел над картой, Оля тогда сказала «у тебя роман с логистикой», и мы поссорились. Одиннадцать процентов — это тот еще роман. Быков к нему имеет то отношение, что однажды прошёл мимо моего кабинета, когда мы считали.

Я открываю рот. Я успеваю сказать: «Коллеги, справедли-

ности ради...»

— Игорь Валерьевич, — Костина поднимает глаза от слайдов, и температура в аквариуме падает градусов на десять. — Как хорошо, что вы обозначились. Как раз переходим к вам. Север. Три магазина. Пустые полки в выходные. Объяснитесь.

И я объясняюсь. Пятнадцать минут я объясняюсь — с цифрами и датами, со сроками подачи машин. Про главное молчу: перевозчика «Транс-Регион» нам навязали, тарифы у него выше рынка, машины старые, и я предупреждал об этом письменно ещё в июле. Причина молчания сидит напротив: перевозчик — Быкова, а войну с коммерческим директором начальнику отдела не выиграть. Я говорю обтекаемо: «подрядчик не выдержал график». Я всё жду, что Шевцов — мой непосредственный, мой прямой руководитель, который эту записку читал и визировал, — вставит хоть слово. Шевцов изучает свой блокнот. У Шевцова талант: в любой момент, когда надо кого-то защитить, у него в блокноте обнаруживается что-то невероятно важное.

— То есть подрядчик виноват, а вы — нет, — резюмирует Костина. — Удобная позиция, Игорь Валерьевич. Знаете, чем славится логистика? Логистика славится тем, что у неё всегда виноват кто-то другой: погода, дороги, подрядчик, звёзды не так встали. А отвечает почему-то весь холдинг своей выручкой. Сядьте.

Я сажусь. Щёки горят, как в школе. Мне сорок один год, у

меня тридцать человек в подчинении, только закрыта ипотека, сын в восьмом классе, и я сижу в стеклянном зале, красный, как двоечник, и восемнадцать человек смотрят кто куда — в стол, в телефон, в окно. Только Веня из моего отдела — я его беру на планёрки протоколировать — смотрит на меня. Сочувственно так. Веня всегда смотрит сочувственно. Заношу в протокол задним числом, отдельной строкой: сочувствие — тоже вид отчётности, и оно тоже кому-то сдаётся. Строку эту я тогда не подшил.

После планёрки в лифте меня догоняет Быков. Хлопает по плечу:

— Не бери в голову, Валерич. Она сегодня не с той ноги. А по северу — ну, разберись там с этим «Транс-Регионом», построй их. Ты же можешь, когда хочешь.

И выходит на третьем этаже. Построй их. Его перевозчик, его тарифы, его договор — а строить мне. Я тоже выхожу из лифта и понимаю, что произошло сейчас, в эту секунду: провал по северу официально переехал из его кабинета в мой. Без единого документа, одним хлопком по плечу. Высший пилотаж. Двадцать лет буду работать — так не научусь. И слава богу, наверное.

В десять тридцать ко мне в кабинет просачивается Веня. Веня — ведущий специалист, тридцать два года, всегда свежая рубашка, всегда первым здоровается с охраной. Он приносит мне кофе — я не просил, но он приносит, у него это называется «шёл мимо кофемашины».

— Игорь Валерьевич, вы сегодня блестяще держались. — Он ставит стакан ровно на подставку, единственный человек в отделе, который попадает на подставку. — Я, кстати, слышал краем уха: Аркадий Петрович после планёрки заходил к Елене Аркадьевне. Минут на двадцать. Не знаю, о чём, но... подумал, вам полезно знать.

— Спасибо, Вень.

— Я на вашей стороне, Игорь Валерьевич. Вы же знаете.

Он выходит бесшумно, как медбрат. Полезно знать. Вень постоянно приносит мне «полезно знать» — кто к кому заходил, кто что сказал у кулера. Я это слушаю вполуха: сплетни. Мне и в голову не приходит спросить себя простую вещь: если человек носит информацию вниз, почему я решил, что он не носит её вверх? Вопрос числится в моём списке невыясненных. Список у меня длинный, ведётся аккуратно, и почти всё в нём закрывается с опозданием на полгода.

В обед иду в столовую с Семёнычем. Семёныч — мой замначальника по складу, шестьдесят один год, работает в логистике дольше, чем существует слово «логистика», — раньше это называлось «снабжение и сбыт». Мы берём по бизнес-ланчу за триста сорок, и Семёныч, разламывая хлеб, спрашивает:

— Опять порола?

— Опять.

— Ты вот скажи мне, Валерьич. — Он жуёт неторопливо, по-стариковски. — Тебе оно надо? Не в смысле увольсья, ку-

да ты денешься. А в смысле — чего ты им всё доказываешь? Докажешь одно — они тут же придумают следующее. У них там наверху конвейер по производству виноватых. План перевыполняют.

— Порядок должен быть, Семёныч.

— Должен, — соглашается он и отламывает ещё кусок хлеба. — Только у нас с тобой разный порядок, Валерьич. Я тебе историю расскажу. В восемьдесят седьмом у нас начальником цеха поставили одного — Стрельцов фамилия, царствие небесное. Он завёл правило: любая деталь, ушедшая в брак, разбирается лично им, при бригаде, без исключений. Через год у него в цеху брак упал втрое. Сам он за этот год поседел — весь, целиком, будто мукой обсыпало. Я тогда в первый раз понял, что у порядка есть цена. Держит её на себе тот, кто порядок наводит, лично, своей шкурой. Ты вот мне скажи, кто у тебя в конторе эту цену платит. Наверняка найдётся какая-нибудь новенькая, окладом раза в три меньше твоего, — вот про неё на досуге и подумай, чем она у вас там расплачивается за чужой порядок. Я сорок лет в этом городе на обед хожу. Обе породы за эти годы перепробовал, и научился их различать с одного взгляда.

Я записываю это мысленно, чтобы вечером рассказать в бане, и тут же забываю, потому что звонит распределительный центр. Дальше день катится по расписанию: в час селектор, а в два ко мне заходит Настя с анализом по возвратам.

Про Настю надо сказать. Взяли её в июне, на усиление ана-

литики. Резюме было лучшее из сорока: красный диплом и стажировка в крупной рознице. Первый месяц я был доволен, как кот: она за три недели вычистила базу поставщиков, которую три года никто не трогал. А потом я стал замечать вещи, которые сам не хотел бы замечать. В обед она сидит одна за столом со своим контейнером — весь отдел к этому времени уже разбредается стайкой по кафешкам. Что-то спросит у Петровны — получит три слова через плечо, не поворачивая головы. Отчёты ей возвращают с красной ручкой по полям: исправлено оформление, к цифрам претензий нет, только оформление вечно хромает.

Сегодня Настя кладёт мне на стол анализ по возвратам и остаётся стоять перед столом, мнёт край папки — прежде за ней такого не водилось, уходила сразу.

— Игорь Валерьевич, можно вопрос? — Голос у неё ровный, заранее выученный наизусть — я сам таким с Костиной разговариваю. — Я что-то делаю не так? Вы скажите прямо, я исправлю. Просто я не понимаю. Я стараюсь, а...

И замолкает. А я, четырнадцать лет как руководитель, — в отпуске даже книжку прочитал про эмоциональный интеллект, — говорю:

— Настя, вам кажется. Работайте. Коллектив у нас требовательный, зато людей ценит. Притрётесь.

Она кивает и уходит. Спина прямая, шаг ровный — так по коридору ходят люди, которые считают до десяти про себя.

А через полчаса я иду к кулеру и вижу сцену. У кулера

— Петровна со свитой: Людмила Ивановна и Ирочка, которой сорок пять, только звать её иначе за все годы никто и не пробовал. Настя подходит со своей кружкой, и разговор обрывается сразу, без перехода, как будто кто-то щёлкнул тумблером. Она наливает воду молча. Молчание стоит такое плотное, что хоть режь его на куски. Потом Петровна говорит, глядя куда-то в пространство поверх Насти: «Некоторые думают, что если институт закончили, то можно старших не спрашивать». Ирочка усмехается в кружку. Настя уходит, не оборачиваясь. Дверь за ней закрывается, и голоса за спиной оживают снова: «...так вот, я ей и говорю: рассада — это же целая наука...»

Я всё это вижу. Стою в трёх метрах, жду свою очередь к кулеру — тишину вижу, «некоторых» слышу, Ирочкину усмешку в кружке разглядываю подробно, будто мне за это отдельно платят. А думаю я в этот момент простую вещь: бабские разборки, само рассосётся, не лезть же мне в кто-с-кем-не-разговаривает. У меня север горит, там реальные полки пустые, а тут — рассада.

Наливаю воду и ухожу. И вот что здесь существенно: у меня в тот момент даже мысли не мелькает, что я только что сделал. А сделал я вот что: я был единственным человеком, который мог остановить это одним предложением, — и я промолчал. В моём отделе. На моей территории. При мне.

Я возвращаюсь к письму про север и через минуту уже не помню этого разговора. Вот честно — не помню. Вспомню

сегодня же вечером, в бане, когда Тёма спросит своим тихим голосом, тянет ли она.

В четыре звонит Оля. Я вижу её имя на экране и нажимаю «занят» — на автомате, даже не подумав, потому что параллельно у меня висит распределительный центр на второй линии. Через минуту приходит сообщение: «Мить получил 2 по русскому. Учительница просит подойти. Я не могу во вторник, сможешь ты?» Я пишу: «Посмотрю календарь». Посмотрю календарь. Эту переписку я потом перечитаю целиком, лёжа на спине и разглядывая чужой потолок, — «посмотрю календарь» в ответ на вопрос про родного сына, — и мне станет физически стыдно, до жара. А сейчас — нормально. Я с этим сообщением обращаюсь ровно так же, как с заявкой от склада: фиксирую запрос, подбираю ресурс, закрываю в календаре и еду дальше по своим делам.

В шесть вечера, когда нормальные люди едут домой, у нас начинается вторая смена: время, когда начальство свободно от совещаний и начинает генерировать задачи. В шесть десять — Шевцов: «Игорь, зайдите». Захожу. У Шевцова на столе — распечатка моей презентации по оптимизации складских остатков. Я её делал месяц, по вечерам.

— Смотрел ваши предложения. — Он листает, не глядя на меня. — Сыровато, Игорь. Но направление любопытное. Оставьте, я изучаю.

Перевозу: похоронит в ящике. А может, через месяц я увижу эти слайды на совете директоров под его фамилией

— в прошлый раз было так. Я говорю: «Конечно, Андрей Михайлович». Слово это у меня уже как мозоль на языке.

В семь — звонок Костиной: «Синхронизация по итогам недели». Час двадцать. Смысл мероприятия не поддаётся пересказу, потому что смысла нет; есть ритуал: она говорит, мы записываем. Я сижу и думаю про баню: топится уже, наверное, Санёк едет со своей рыбой, а мне ещё пилить за город — если она закруглится в восемь, успею к третьему заходу. Она закругляется в двадцать минут девятого. Финальная фраза — мне: «И, Игорь Валерьевич, по северу жду от вас планов мероприятий. Завтра к обеду». План мероприятий — это такой жанр: его никто не читает, зато без него не подписывают ни один следующий документ, и в этом смысле он бессмертнее любого отчёта, который читают. Я киваю. Конечно.

В баню я вваливаюсь в четверть десятого, в костюме, с лицом, как говорит Санёк, «цвета мокрого асфальта». Кладу телефон в короб — он тут же вибрирует, и я дёргаюсь, как от тока. Санёк что-то шутит про первые сутки. С мужиками у меня отдельная планета: за два захода из меня выходит весь «Меркурий», с Костиной, Быковым и планами мероприятий. Я даже про Настю рассказываю — смешно рассказываю, сам смеюсь. «Нежное поколение». Тёма спрашивает, тянет ли она. Тянет, говорю. Голова светлая.

Домой приезжаю в четверть первого. В квартире темно. На кухне под полотенцем — тарелка: Оля оставляет мне ужин, как оставляют еду коту, который гуляет сам по себе.

Я ем стоя, у мойки, не включая свет, чтобы никого не разбудить, и посудомойку не запускаю — гудит.

Прохожу мимо Митькиной комнаты. Из-под двери — полоска света. Час ночи. Я приоткрываю дверь: спит. Уснул с телефоном в руке, экран ещё горит — какой-то чат, мелькают сообщения. В четырнадцать лет я бы тоже не спал, если б у меня в кулаке помещался весь мир. Я вытаскиваю телефон из его пальцев — осторожно, как сапёр, — кладу на стол экраном вниз. Сын ворочается, бормочет что-то невнятное — вроде «подожди» кому-то из своего чата. На макушке торчит хохолок — в точности такой, как у меня и у моего отца. Это наследство передалось само, без всякого моего усилия, — жаль, остальное так не работает.

Стою и смотрю. Есть у меня такая привычка, о которой никто не знает: постоять у спящего сына. Это единственное время, когда мы с ним не ссоримся из-за оценок. Когда он спит, у нас идеальные отношения.

— Спокойной, Мить, — говорю я шёпотом.

Он не слышит. Оно и к лучшему: не услышит — не съязвит.

Ложусь рядом с Олей. Она не спит — я знаю, что не спит, по дыханию, — но мы оба делаем вид. Так проще. Разговоры после часа ночи опасные, они начинаются с «как дела», а заканчиваются «так больше нельзя». Завтра пятница. План мероприятий к обеду. Потом выходные — Шевцов любит присылать голосовые в субботу утром, «пока мысль све-

жая». Потом понедельник.

Я засыпаю и вижу странный сон: наш аквариум на третьем этаже, только воды в нём по-настоящему — по грудь. И все сидят на своих местах, в костюмах, по грудь в воде, Костина листает слайды, и никто не говорит вслух, что вода прибывает.

Организм разбудит меня в шесть ноль четыре. За шесть минут до будильника. Он у меня дисциплинированный, мой организм: сорок один год без единого замечания, без единого больничного, всегда раньше срока.

Свожу день по форме. Планёрка — минус. Север — минус. Настя — вопрос снят формулировкой «притрётесь». Сын — перенесено. Баня — плюс. Баланс сходится.

У меня всегда сходится. Я умею закрывать период, вынося неудобное в следующий. Неудобное это, надо отдать ему должное, ждёт терпеливо и предъявляется всё сразу.

Глава 3. Смена

Санёк — Александр Ковалёв

Утро у нас в семье начинается с очереди в ванную, и я в этой очереди последний, потому что мне на смену к семи двадцати, а женщинам — Наташке в поликлинику и Вике в сад — «собираться дольше, у нас причёска». У Вики причёска — два хвостика. Двадцать минут — два хвостика. Я как-то предложил свои услуги — сказал, что на заводе за такое время балансирую шпиндель, — и был изгнан из ванной обеими с формулировкой «папа, ты не понимаешь в красоте». Лёха в очереди не участвует: Лёху утром поднять — это отдельная производственная операция, я её называю «расконсервация». Подходишь, снимаешь одеяло, говоришь: «Подъём, смена началась» — и уходишь, и через три минуты повторяешь, и так до четырёх раз. На пятый он встаёт и час ходит по квартире с закрытыми глазами, как сомнамбула, натываясь на мебель. Весь в мать. Наташка, когда я это озвучиваю, говорит, что весь в меня, — и у нас нет способа установить истину, потому что сами себя мы по утрам не видим.

Я выхожу в шесть пятьдесят с бутербродами в пакете. Наташка суёт их мне в руки на пороге — всегда два с сыром, один с колбасой, двадцать лет одна пропорция, и попробуй она её поменяй, во мне что-то обрушится. На лестнице пах-

нет чьей-то яичницей. Во дворе прогревается такси соседа Гены. Обычная жизнь, включённая на привычную громкость, — эту громкость я люблю, хоть вслух в такой любви признаваться не с руки. Мне на ней слышно всё, что мне дорого.

Завод по утрам гудит вполсилы, как оркестр на разминке, и держит в воздухе свой всегдашний запах — эмульсия, металл, вчерашний день. Я этот запах люблю, хотя признаваться в такой любви не принято даже самому себе. Идёшь через проходную в семь двадцать, вахтёрша тётя Зина говорит «здорово, артист», турникет щёлкает, как затвор фотоаппарата, — и всё, ты дома. Двадцать пять лет уже щёлкает: я пришёл сюда в шестнадцать, сразу после училища, а институт добирал потом, на вечернем, — Игорёк с Тёмой на дневном сидели, я после смены, но выпускной у нас был общий, и клятву мы давали за одним столом. Если сложить все щелчки — на симфонию наберётся.

Цех у нас механический, номер шесть. Пятьдесят два человека по списку, сорок семь по факту, потому что пятеро вечно то на больничном, то в отгуле, то у военкома отмечаются, то просто «где Лапин?» — а Лапин там, где всегда, и все знают где, но говорят «на складе». Мои владения — участок ЧПУ: восемь станков, из них три новых, японец и два китайца, и пять стареньких, которым я как личный врач, психолог, духовник и последняя инстанция. Наладчик — это человек, который делает так, чтобы железка за двадцать мил-

лионов не превратилась в железку за ноль миллионов. Оператор нажимает кнопки, станок делает деталь, а когда станок вместо детали начинает делать брак, звук «жиг-жиг» или дым — зовут меня.

В семь сорок пять — развод, планёрка по-заводски: мастер раздаёт наряды. Мастер у нас Грибан. Фамилия у него на самом деле Грибанов, но Грибан ему идёт больше: есть в нём что-то такое... подосиновое. Крепкий, красноголовый и всегда знает, где что растёт.

— Так, — говорит Грибан, водя пальцем по планшету. — Ковалёв. На «пятёрке» опять по геометрии уплыло, заказчик деталь завернул. Сделаешь.

— Сделаю, — говорю. — А наряд какой закроем?

— Профилактика.

— Григорий Иванович, — говорю я ласково, потому что ласково его бесит сильнее, — профилактика — это когда я железку глажу и ей комплименты говорю. А когда я полдня ловлю соточку по трём осям — это называется наладка после отказа. Она, между прочим, по другому тарифу.

Мужики вокруг оживляются. Грибан смотрит на меня долго, по-грибниковски: срезать или пусть постоит.

— Умный, да, Ковалёв?

— Не без этого, Григорий Иванович. Мамка виновата, книжки в детстве подсовывала.

Смешок по курилке. Грибан на меня даже не смотрит — записывает в планшете «наладка» и хмыкает, обозначая, что

всё слышал. При людях он со мной цапается вполсилы: я ему в цеху нужен, и оба мы это прекрасно понимаем. Выгодный наряд опять уходит Косте — сегодня фланцы, работа непыльная, платят за неё хорошо. Костя грибановский кум, грибница у нас в цеху занятая: где выгодный наряд, там обычно и Костя рядом. Мужики по этому поводу бухтят себе под нос. Вслух связываться с мастером желающих нет: он потом полгода будет «профилактику» писать. У меня на такой случай шутка наготове, и долгое время казалось, что шутками из цеха выходишь целым. Забегая вперёд скажу: ошибался.

До обеда я реанимировал «пятёрку». Ловил геометрию, как блоху: там люфт в направляющей копеечный, но на длинной детали его размазывает до брака. Довёл направляющую, прогнал пробную деталь — и микрометр наконец показал красоту. Есть у меня в работе момент, ради которого всё: когда деталь выходит из станка тёплая, и ты её меришь, и она — в ноль. В этот момент я, между прочим, никому не завидую. Ни Игорю с его кабинетом, ни Тёме с его коттеджем. В этот момент со мной вообще мало кто может тягаться по уровню счастья — ну, может, Ростропович какой-нибудь после концерта, и то не факт.

В обед — столовая. Гуляш, макароны, компот, сто девяносто рублей. За нашим столом — Витя Костромин с шлифовки, Олежка-крановщик и дед Семёныч... не тот Семёныч, это у Игоря свой Семёныч, у нас свой, их вообще на

любом производстве по штату положено, Семёнычей. Разговор за столом стандартный: цены, рыбалка, чей-то новый сарай и кто что слышал про новое руководство. Про новое руководство слышали всё как обычно: «будут порядки наводить». Порядки у нас наводят каждые три года, как паводок. пошумит, затопит пару огородов и сойдёт.

— А чего Тимофеич-то ушёл? — спрашивает Олежка. — Хороший вроде директор был.

— На пенсию, по бумагам, — говорит дед Семёныч, дожёвывая. — Сорок девять лет ему и на пенсию. Ну, значит, здоровье подвело.

После обеда стоим в курилке, приходит Костя — кум, взявший утром фланцы, — и давай жаловаться: программа на фланцы старая, оснастку искать надо, «повезло, называется». Мужики переглядываются. Я не выдержал:

— Кость, ты не переживай. Ты Григорию Иванычу скажи — он у тебя фланцы заберёт и мне отдаст. А тебе мою «пятёрку» с уплывшей геометрией. По-родственному.

Костя покраснел пятнами и ушёл, не докурив, бросил в урну целую сигарету. Следом потянулись и остальные. Дед Семёныч остался, посмотрел на меня поверх очков и сказал негромко, мне одному:

— Ты, Ковалёв, всё шутишь. — Он затянулся и помолчал, глядя куда-то мимо меня, на доску с приказами. — Грибан ведь твои шутки складывает. Смеётся он со всеми за компанию, а память у него отдельная. Осенью премию делить бу-

дут — вот там тебе всё и припомнится, разом. Твою личную подпись, Ковалёв, понял меня? Через мой цех таких остряков четверо прошло за тридцать лет. Мужики были с головой, с руками. Про двоих знаю, что устроились, про остальных даже спрашивать не советую.

— Семёныч, так а что мне, молчать, когда наряды по кузовьям расходятся?

— Зачем молчать. — Он аккуратно затушил окурок о каблук. — Считай. Криком у нас ещё никто ничего не выбил: весь крик уходит в форточку вместе с дымом. Умный копит цифры тихо, и в нужный день счёт у него при себе, готовенький.

Я тогда покивал и забыл, а зря: разговор этот мне аукнется через год, когда на стол лягут списки. Но про списки будет своя история, а в тот день после обеда меня дёрнули на «японца»: оператор Люська заporола ноль, загнала деталь в стружку и села реветь прямо у пульта. Люське двадцать четыре, у неё кредит на телефон и мама болеет. Я ноль восстановил, Люське сказал, что на её ошибке будем теперь молодых учить, потому что такая ошибка редкая, почти коллекционная, — Люська засмеялась сквозь сопли. Выучить человека на чужой промашке дело нехитрое. Куда труднее сделать так, чтобы он после своей собственной не боялся подходить к станку, — вот это высший разряд.

Домой я в этот день не спешил, потому что четверг у нас завтра... Сегодня среда. А среда — это гаражный день. У

меня в гараже стоит «шестёрка» покойного бати. Наташка намекает, что гараж мог бы деньги приносить вместо того, чтобы пылиться без дела, только я эту машину не продам ни при каком раскладе. В девяносто восьмом я сидел на её заднем сиденье и держал канистру, а батя рулил и пел «Наутилуса» — с такой памятью гараж не расстаются.

Гаражи наши — это отдельная цивилизация, семь рядов железных коробок за теплотрассой. Там свои законы, своя дипломатия и своё сарафанное радио, которое работает быстрее интернета. Подъезжаю — у моего ряда стоит незнакомая машина: чёрная, с тонированными в ноль стёклами. Не новая, но с явной претензией на солидность. И около Витькового гаража топчется человек. Не гаражный человек — ботинки чистые.

Витёк — сосед мой по ряду, через два бокса, электрик из ЖЭКа с нормальными руками и тихим характером. У него «Нива» две тысячи восьмого года и двое пацанов-погодков.

— Виктора ищите? — спрашиваю.

Человек оборачивается. Лицо гладкое, вежливое, глаза как у рыбы в заморозке.

— А вы ему кто?

— А это уже смотря кто спрашивает, — говорю я в тон, и мы с полминуты перекидываем этот вопрос туда-сюда, как мяч через сетку.

— Знакомый, — говорит он наконец. — Передайте: приезжал Олег Борисович. Виктор поймёт.

Сел и уехал. А я стою и чувствую, как у меня внутри что-то ёкнуло — нехорошо так, знакомо. Я эту породу знаю. У нас в двухтысячных на заводе полцеха в долгах у таких сидело, я на эти гладкие лица насмотрелся. Коллектор. Банковские хоть письмами душат — вежливо, издалека. Этот — из тех, что по микрозаймам, там переписку не разводят, работают сразу руками.

Я вернулся к «шестёрке», но работа не шла. Ковырялся и прислушивался — ждал, когда у Витька замок лязгнет. Есть такое у мужиков в гаражах: с виду всякий при своём железе, а ряд у нас — сплошная коммуна. Лязгнет у кого-то замок — уже все знают, кто пришёл. Только виду не подают.

Витёк появился через полчаса — я как раз копался в карбюраторе, слышу: замок у него лязгает. Я отложил отвёртку, вытер руки и подошёл. Витёк дверь гаража открыл и стоит внутри, в темноте, даже свет не включив.

— Витя, — говорю. — Тут тебя Олег Борисович спрашивал.

Он так дёрнулся, что головой об полку приложился. Банки сверху посыпались — у него там гайки по банкам из-под кофе рассортированы, аккуратист.

— Чего ему... чего он сказал?

— Сказал, ты поймёшь. Витя. Ты чего, брат?

— Ничего. — Он стал собирать гайки с пола, не глядя на меня, руки у него ходили ходуном. — Так, недоразумение одно. По работе.

— Ну да, конечно, по работе, — киваю я без всякой веры в собственные слова. — Олег Борисович из ЖЭКа, ага. С тонировкой в ноль. Витя, я не следователь, исповедовать не буду. Но если у тебя то, о чём я думаю, — там счётчик, он сам не остановится, понял? Там счётчик хуже электрического, он и ночью мотает.

— Да всё в порядке, Саня! — Он почти крикнул это, и от того, как крикнул, стало окончательно ясно: дело плохо, хуже некуда. — Всё, закрыли тему. Тебе ключ на двадцать два нужен был? На той неделе занесу.

И гараж закрыл изнутри — сидит теперь в железной коробке, в темноте, среди своих гаечек, лишь бы не разговаривать. А я постоял снаружи, послушал, как он там гремит своими банками, и пошёл к себе. Давить сейчас без толку, только упрётся сильнее. Но на карандаш я тебя, Витя, взял.

Пока возился с карбюратором, заглянул Лёха — он иногда приезжает ко мне в гараж на велике, когда уроки сделаны или когда говорит, что сделаны. Сел на батин табурет, крутит в руках свечной ключ.

— Пап. А эта машина вообще поедет когда-нибудь?

— Так она ездит. В мае до Кузьмичёвой дачи доехала и обратно, сорок километров.

— А зачем она тебе? Она же старая. Продал бы — на приличную докинул.

Я вылез из-под капота, вытер руки о штаны и посмотрел на сына. Пятнадцать лет ему. Сидит на батином табурете,

болтает ногой и видит перед собой ржавое ведро, которое занимает место в гараже.

— Лёх, вот смотри. — Я кивнул на заднее сиденье. — Вон там, справа, сидел пацан чуть помладше тебя и держал канистру, потому что бак подтекал, а денег на ремонт не было. И пел с отцом на два голоса. Отца и той канистры давно нет на свете, а сиденье вот оно, тёплое от солнца, целое. Место такое не продашь, сколько ни предлагай.

Лёха посмотрел на сиденье, потом на меня — что-то у него в голове явно щёлкнуло, я это заметил по глазам, — но виду он не подал, возраст не тот, чтобы отцу показывать, что дошло.

— Ну и лады, — сказал он. — А дашь порулить? По ряду. Тут же не дорога.

И мы полчаса катались по гаражному ряду черепашьим шагом: он рулил, я рядом сидел и орал «сцепление!», и это были, может, лучшие полчаса недели. Уехал он довольный, с чумазым носом. А я запер гараж и подумал: вот оно, моё богатство, вон покатило на велике, педали крутит. Тёмин котедж рядом с этим не котируется. Игорев кабинет тем более.

Дома был к девяти. Наташка на кухне сидела с тетрадкой для домашних расчётов, в клеточку, — там вся наша экономика: столбик «надо», рядом столбик «есть», между ними её вздох. Я эту тетрадку издали узнаю по тому, как жена сидит: локоть на столе, ладонь в волосах.

— Чего считаем? — Я поцеловал её в макушку и полез в

холодильник за ужином.

— Лёхе к зиме всё менять, куртку и ботинки, вырос из всего разом, как назло. Ещё Вике костюм на танцы к отчётному. Плюс у мамы юбилей, туда без подарка нельзя. И двадцатого банку кормить. Я сегодня прикинула: если куртку в «Спортмастере» по акции, то нормально, а если ботинки ещё...

— Погоди. — Я сел напротив с макаронами. — А твои сапоги? Ты же говорила, у тебя молния всё.

— Молнию Верка починит за триста рублей. — Она махнула рукой так, что стало понятно: сапоги в столбике «надо» стояли и были вычеркнуты. Первым же номером.

Вот тут, мужики, есть у меня одна особенность, я её в себе знаю и не люблю: я в такие моменты начинаю шутить. Это как чих — сдержать нельзя. Я сказал, что молния — это вообще самая надёжная часть женского сапога после каблука, что Верка на этих молниях скоро дом построит, что Лёха растёт со скоростью, не предусмотренной семейным бюджетом, и надо подать на него в суд за превышение... Наташка смеялась, тетрадка закрылась, чай попили с пряниками.

А ночью я лежал и не спал. Лежал и складывал в голове цифры — без тетрадки, я и так их все помню, они у меня, как дети, наперечёт. Зарплата моя, зарплата Наташкина, ипотека двадцать три, кредит за «Гранту» одиннадцать, коммуналка, продукты, куртка, ботинки, костюм на танцы, юбилей... Сошлось. Впритык, без сапог, но сошлось, двадцать лет уже так

живём.

Потом мысли съехали на Витька. Как он стоял в темноте среди своих банок и собирал гайки с пола. Он ведь тоже до какого-то месяца всё сводил, не хуже моего. Потом взял первый займ — небось на ерунду какую-то, на телефон пацану или на зимнюю резину, — и понеслось. Пацаны у него погоды, семь и восемь, обоих в школу собирать. Жена, кажется, нянечкой в саду, у Вики в соседней группе. «Ниву» свою он в позапрошлом году перебирал всё лето, я ему тогда помпу помогал ставить, и он всё удивлялся, что я денег не беру. А в прошлом году «Ниву» я у него во дворе уже не видел. Стоит ли она сейчас где-нибудь или продана — не спрашивал.

Взял я телефон, написал ему: «Витя. Ключ на 22 не к спеху. А если поговорить надо будет — я в гараже по средам, а вообще открою в любой день, ты только скажи». Помолчал, добавил ещё: «Пиво с меня» — и отправил.

Прочитал он сразу, галочки поменяли цвет, но отвечать не стал.

Ладно, думаю: раз прочитал — уже хорошо. Дожму его в среду или когда сам придёт.

Уснул я быстро. Куртку возьмём по акции, молнию Верка сделает за триста рублей, на юбилей как-нибудь наскребём. Совсем прижмёт — возьму халтуру: Кузьмич с третьего ряда давно просит перекинуть ему проводку в гараже, обещал две тысячи и банку самогона. Самогон у него, между прочим, приличный, на кедровых орешках.

Через месяц слово «сокращение» появится у нас на доске приказов, рядом с графиком отпусков. А с Витьком всё обернётся так, что дверью своего гаража он от меня уже не отгородится.

В ту ночь я спал спокойно. Завтра четверг.

Глава 4. Директор по развитию.

Артём Савельев, директор по развитию сети «Шумилов-Строй»

Меня зовут Артём Сергеевич Савельев, мне сорок один год, и у меня есть кабинет с табличкой «Директор по развитию». Табличка золотистая, буквы гравированные. Я иногда смотрю на неё, когда вставляю ключ, и думаю: интересно, сколько она стоила. Всё остальное в моей жизни я знаю, сколько стоило, — мне регулярно сообщают.

Утро начинается с того, что я не сразу вспоминаю, где я. У нас спальня двадцать шесть метров, окна на восток, и первые секунды после сна я каждый раз заново удивляюсь потолку — он далеко. В квартире, где я вырос, потолок был два сорок, и на нём было пятно от протечки, похожее на Австралию. Я по этой Австралии научился читать — мама рассказывала про материки, показывая на пятно. Здесь потолки три двадцать и никаких пятен. Иногда мне их не хватает, пятен. По ним было видно, что дом живой.

Лера спит на своей половине, красиво спит — она всё делает красиво, даже это. Соня уже топчет вниз: у неё в восемь тридцать школа, её забирает Виталик. Виталик — водитель. Не мой. В этом доме есть водитель и садовник по вторникам, а на кухне царит Галина Степановна, которая го-

товит и смотрит на меня с жалостью. Оформлена она, между прочим, у Тамары Викторовны: тёща наняла её ещё при покойном Павле Аркадьевиче, а когда мы с Лерой сюда въехали, отправила к нам вести хозяйство. По средам Галина Степановна кормит нас завтраком и уезжает готовить ужин к тёще — на двенадцать персонстряпня там начинается с полудня. Из всего персонала лишь она одна догадалась, кто я здесь такой, — своего брата прислуга видит издалека. Мысль эта пришла ко мне однажды после третьего коньяка, и с тех пор я стараюсь её не думать, потому что несправедливо: у Галины Степановны хотя бы должность настоящая.

Завтракаю с Соней. Это моё время, святое: пятнадцать минут, пока Лера в душе, а из кухни пахнет сырниками.

— Пап, а правда, что ты в школе один раз взорвал кабинет химии?

— Неправда. Я взорвал колбу. Кабинет просто... проветривался потом две недели. Кто сказал?

— Дядя Саня. В прошлый раз, когда веники завозил. Он сказал, ты был самый умный в институте, а колбу взорвал, потому что даже умным иногда скучно.

— Дядя Саня — источник ненадёжный, но лестный. До-едай.

— А ещё он сказал, — Соня понизила голос и посмотрела на дверь, — что если меня будут в школе обижать, то чтобы я сразу ему звонила, потому что у него есть монтёрка и чувство юмора.

— Это, — говорю, — исчерпывающая характеристика дяди Сани. Но сначала — мне, ладно? Монтировка у нас на крайний случай.

Соня засмеялась и уехала со своими бантами. А я допил кофе и поехал развивать сеть строительных гипермаркетов «Шумилов-Строй» — все девять магазинов, флагман на Объездной, основана в девяносто восьмом Павлом Аркадьевичем Шумиловым, царствие ему небесное, поднята и удержана Тамарой Викторовной Шумиловой, дай бог ей здоровья, — и это не сарказм, я серьёзно: дай бог ей здоровья, потому что без неё эта махина осыплется за год, и я это знаю лучше всех, потому что я единственный, кто смотрит на машину незамыленным глазом. Мне за это, правда, ничего не полагается, кроме таблички.

Офис управления сетью — второй этаж над флагманом. Мой кабинет — в конце коридора, рядом с серверной. Символизм оценил не сразу, года через два: сервер ведь тоже важный и гудит, а мнения его никто не спрашивает.

В десять — совещание по ассортиментной политике. Веду не я. Вернее, веду формально я, а фактически — Гнедин. Виктор Аркадьевич Гнедин, исполнительный директор, правая рука Тамары Викторовны, работает в компании с первого магазина, двадцать семь лет, — живого Павла Аркадьевича застал считанные месяцы и не упускает случая об этом напомнить.. Со мной он безукоризненно вежлив — вежливость у него отдельная, такая, что после неё хочется вымыть руки.

«Артём Сергеевич, любопытная мысль. Передадим в работу». В переводе с гнединского «передадим в работу» означает «похороним с почестями». У него в кабинете, я думаю, скопилась уже целая пачка моих «любопытных мыслей», аккуратно похороненных одна за другой.

Сегодня я приношу проект, который готовил три месяца, — настоящий, с цифрами. Суть простая: наш флагман теряет молодого покупателя — все, кто моложе сорока, уходят в федеральные сети и маркетплейсы, у нас же покупают те, кто привык с двухтысячных. Я предлагаю зону «сделай сам»: мастер-классы по выходным, прокат инструмента, сборные наборы для новичков, детский уголок при кассах. Пилот на флагмане, бюджет скромный, окупаемость я посчитал тремя сценариями, даже пессимистичный — четырнадцать месяцев.

Двадцать минут держу зал. Это у меня получается хорошо: когда я говорю о деле, у меня пропадает это вечное «извините, что я тут». Директора магазинов слушают. Молодой Крутов с Объездной даже кивает. И тут Гнедин снимает очки.

— Артём Сергеевич, любопытная мысль. — Пауза. Он протирает очки платком не спеша, всем видом показывая, что торопиться — это к подчинённым, а у него на это давно нет причин. — Но вот какое дело. Павел Аркадьевич, царствие небесное, всегда говорил: мы торгуем стройкой. Развлечениями пусть занимается кто-то другой. Наш покупа-

тель — прораб и хозяин. Мастер-классы — это, простите, для тех, кто дрель в руках не держал.

— Так я об этом и говорю, Виктор Аркадьевич. Тех, кто держал, — всё меньше. Новые не приходят. Посмотрите на возрастную структуру чеков, она в приложении три...

— Приложение три мы изучим. — Он надевает очки. Всё, презентация окончена. — Передадим в работу. Коллеги, по йогуртам... простите, по герметикам.

Смешок по залу, вежливый, адресован вроде бы шутке начальства — только долетает он почему-то до меня, и разницы я, если честно, не чувствую. Крутов, который кивал, теперь изучает свой ежедневник. Я закрываю ноутбук. Внутри — знакомое: горячее поднимается от груди к горлу и там останавливается, потому что горло у меня за двенадцать лет научилось не пропускать это наружу. Опускается обратно. Оседает где-то. Где-то — это я знаю где. Это место потом просит коньяка.

После совещания ко мне в кабинет заглянул Крутов с Объездной — из всех кивавших единственный дошёл до двери. Ему тридцать четыре, он самый молодой из директоров магазинов и самый зубастый — флагман ему дали два года назад, и он выжал из него всё, что можно выжать, не меняя ничего по сути.

— Артём Сергеевич, я чего зашёл. — Он прикрыл дверь. — Идея-то рабочая, с мастер-классами. Я у федералов видел, как это работает, у них суббота на этом стоит. Я бы у

себя попробовал.

— Так а что ж вы на совещании молчали, Дмитрий Олегович?

Он посмотрел на меня с искренним удивлением. Так смотрят на взрослого человека, который спросил, почему нельзя переходить дорогу на красный, когда машин нет.

— Так Виктор Аркадьевич же высказался, — сказал он просто. — Куда я против него? Мне через полгода бюджет на ремонт согласовывать. Только в трусы меня не записывайте. Я — надолго. Это разные вещи.

И ушёл. А я остался сидеть с этой формулой: «я — надолго». Красивая формула. Ею, я думаю, у нас в компании человек тридцать пользуется. А может, и не только в компании. Может, ею полстраны бреется по утрам. Я и сам хорош: чем я, собственно, лучше? Тем, что мои «любопытные мысли» хоронят публично, а не в рабочем порядке?

А в обед был звонок. Я как раз стоял в торговом зале флагмана, у стеллажа с крепежом, — я люблю торговый зал, там настоящее: люди, тележки, вопросы, очередь у распила, — и обсуждал с завсекцией выкладку. И тут телефон: «Тамара Викторовна».

— Артём. — Она никогда не здоровается со мной по телефону. Здороваются с чужими, а я свой, в том особом смысле, в каком своей бывает мебель. — Мне сказали, ты опять завёл разговор про свои кружки по интересам. Артём, у меня к тебе просьба. У компании сейчас непростой период, у людей

не должно быть ощущения, что руководство развлекается. Твоя энергия нужна в другом. Займись логистическим центром, там опять срыв по срокам. Хорошо?

Пауза ровно такой длины, чтобы я успел сказать «хорошо». Я успеваю.

— Вот и славно. Вечером у нас ужин, Лера сказала тебе? В семь. Не опаздывай, пожалуйста, будут Вершинины.

Отбой. Я стою у стеллажа с крепежом. Завсекцией смотрит на меня и деликатно отворачивается к саморезам. «Мне сказали». Между совещанием и её звонком прошло два часа. Докладывает Гнедин, я знаю. Я даже не злюсь на него за это — велика ли доблесть донести на сервер из коридора. Меня в этом звонке убивает другое слово, я его потом весь день ношу, как камешек в ботинке: «развлекается». Три месяца работы, три сценария окупаемости. Развлекается.

Ужин у Тамары Викторовны по средам — это институция. Стол на двенадцать персон, Галина Степановна к семи превосходит себя, приглашённые — по списку, который согласовывается где-то в недрах тётчиной записной книжки. Сегодня Вершинины: он — владелец сети аптек, она — бывшая одноклассница тётчи. Плюс мы с Лерой, плюс Гнедин с супругой — он на семейных ужинах бывает чаще, чем я считаю нужным, но кто ж меня спрашивает.

Я приехал без пяти семь. В шесть пятьдесят, в машине на подъездной дорожке, я сделал то, что делаю перед каждым таким ужином и о чём не знает никто, кроме бардачка: два

глотка коньяка из плоской фляжки. Захмелеть от такого с моей комплекцией нельзя, расчёт на другое: между мной и вечером появляется тонкая прокладка, амортизатор. С ним тётчины реплики приходят как будто через слой ваты. Я это называю «броня». Я, если честно, догадываюсь, как это называется на самом деле, но у меня с этим знанием договор: оно молчит, я не спрашиваю.

За столом было как всегда. Вершинин рассказывал про рыбалку в Астрахани. Тёща царила. Она это умеет — царить: ей семьдесят один, спина прямая, как у балерины, кольца старинные, голос поставлен. Я на неё иногда смотрю с чистым восхищением, безо всякой иронии: она в девяносто восьмом, овдовев, удержала бизнес, который рвали на части такие люди, что Вершинин против них — одуванчик. Она гений, без преувеличения. Мне бы только хотелось, чтобы этот гений не тренировался на мне.

— А что Артём? — спросил Вершинин из вежливости, между осетриной и горячим. — Как развитие?

— Артёмушка у нас творческая личность, — сказала тёща раньше, чем я открыл рот. Она всегда успевает раньше. — Он у нас недавно предлагал в гипермаркете кружки открыть. Очумелые ручки. — Она улыбнулась, и стол улыбнулся вместе с ней. — Я говорю: Артёмушка, давай ты сначала с логистическим центром разберёшься, а потом уже макраме. Правда, Витя?

— Идея была любопытная, — ровно сказал Гнедин, глядя

в тарелку. — Сырая, но любопытная.

— Молодёжь, — резюмировал Вершинин непонятно про кого, и разговор уехал к аптекам.

Я сидел и улыбался. У меня хорошая улыбка для таких случаев, натренированная: губы работают автономно, лицо занято улыбкой, а сам я в это время где-то в другом месте. Обычно я в бане. Мысленно протапливаю, развешиваю веники, слушаю, как Санёк рассказывает про Грибана. Четверг уже завтра. Я улыбался и наливал себе вина — здесь можно, здесь все пьют вино, здесь моя норма никому не заметна, и это, если вдуматься, самое удобное в этих ужинах.

Лера нашла под столом мою руку и сжала. Есть у неё это — она всегда чувствует момент, когда во мне что-то накрывается, и сжимает руку. Двенадцать лет сжимает. Я в такие секунды её люблю до горловой боли и тут же, следом, задаю себе вопрос, на который у меня нет ответа: если ты всё видишь, Лер, если ты всё чувствуешь — почему ты молчишь? Хоть бы раз, хоть бы одним словом — при ней, при матери: «Мама, а ведь Артём прав». Но нет. За столом слово так и не прозвучало, хотя рука под столом сжала мою уже привычно, безошибочно. Такая у нас с ней негласная конституция: любовь помалкивает, лояльность выходит на люди — да и то по праздникам вроде этого.

Перед десертом я вышел на веранду — «покурить», хотя я не курю; на этих ужинах «покурить» — единственная легальная форма побега. Через минуту туда же вышел Гнедин.

Мы постояли рядом, глядя на тётшин сад, где каждый куст стоит, как мебель.

— Вы не обижайтесь на Тамару Викторовну, Артём Сергеевич, — сказал он, раскуривая свою трубочку. Он один из последних людей в городе, кто курит трубку, и я подозреваю, что трубку он выбрал по той же причине, что и манеру говорить медленно, с паузами, чтобы все ждали. — Она человек старой закалки. Ей важно, чтобы каждый... — пауза, дымок, — ... занимался своим делом.

— А какое дело моё, Виктор Аркадьевич? Просветите. Двенадцать лет работаю — не могу понять.

Он повернулся и посмотрел на меня внимательно. На короткий миг вежливость с него сошла, как плёнка с воды, и я увидел глаза человека, который двадцать семь лет стоит у трона и всерьёз не любит, когда возле трона появляются посторонние.

— Ваше дело, Артём Сергеевич, — сказал он мягко, — семья. Лера, Сонечка. Это же самое главное. А бизнес — дело наживное... для тех, кто его наживал.

И ушёл в дом, оставив меня с этой фразой, как с плевком за пазухой. В ней всё стояло на месте: «ваше дело — семья» — сиди при жене; «кто наживал» — без тебя разобрались. Плюс мягкость, к которой не прицепишься. Попробуй перекажи такое — выйдет, что человек мне комплимент сделал про семью. Высокое мастерство. Я так не умею. Я, когда захочу задеть, сначала три дня репетирую, потом извиняюсь.

Домой ехали молча. То есть Лера рассказывала про Со-
нину учительницу, а я угукал — это у нас называется мол-
ча. Дома, когда она ушла наверх, я зашёл в кабинет. Каби-
нет у меня хороший, тёща обставляла: кожа, дуб, на полке
— подарочные книги о лидерстве, которые никто никогда не
открывал, даже пыль на них какая-то нетронутая, музейная.
Одна называется «Искусство побеждать», в дорогом пере-
плёте, с золотым обрезом, — я её однажды всё-таки раскрыл,
из любопытства, и наткнулся на дарственную надпись само-
му Павлу Аркадьевичу от какого-то бизнес-тренера, дата —
год моей свадьбы. С тех пор книгу не трогал: там, где чужой
автограф покойнику, моё любопытство обычно заканчивает-
ся. Я достал из нижнего ящика коньяк и налил. Первую вы-
пил стоя, у окна. За окном подсвеченный можжевельник —
ландшафтный дизайнер сказал, это «сдержанная роскошь».
Вторую налил и сел.

И вот сижу я, мужчина сорока одного года, в собствен-
ном... в кабинете, — с коньяком, и делаю то, что делаю каж-
дую среду после ужина: провожу переговоры. Я в этих вооб-
ражаемых переговорах — блестящий. Я говорю тёще: «Та-
мара Викторовна, давайте начистоту. Двенадцать лет я делаю
вид, что работаю, а вы делаете вид, что я работаю. Флагман
теряет два процента трафика в год, интернет-направление у
нас на уровне две тысячи двенадцатого, Гнедин последний
раз был в торговом зале при позапрошлом президенте... —
нет, без президента, — Гнедин последний раз был в торго-

вом зале, когда там инвентаризация была, и то не дошёл. Вы гений, но ваш бизнес стареет вместе с вашим окружением, и единственный человек, которому не всё равно, сидит в конце коридора у серверной». Говорю блестяще и убедительно. Тёща в этих переговорах молчит, поражённая, а потом говорит: «Что ж ты раньше молчал, Артём».

Я допил вторую и убрал бутылку. Три — лишнее, у меня по средам две. У меня система. Человек с системой уверен, что уж он-то не спивается. Он просто пьёт по расписанию.

Наверху Лера ещё не спала — читала. Я лёг рядом, она отложила телефон.

— Тём. Ты же не обижаешься на маму? Она не со зла. Она просто так устроена: ей надо, чтобы всё было под контролем, она иначе не умеет. Она тебя ценит, правда. Она мне сама говорила.

Вот оно. Она мне сама говорила. До меня такие слова доходят только в пересказе, и я двенадцать лет живу на этих пересказах, как на гуманитарной помощи.

— Не обижаюсь, — сказал я. — Спи.

И она уснула — у неё это быстро, совесть чистая, день удался. А я лежал и смотрел в далёкий потолок без единого пятна. В четверг — баня. Расскажу мужикам про «макраме» — Санёк изобразит Гнедина, у него отлично выходит, будем ржать. Про фляжку в бардачке не расскажу. Про переговоры с тёщей в пустом кабинете не расскажу. Про то, что я, кажется, единственный человек, который репетирует смелость по

средам, под коньяк, перед можжевельником с подсветкой, — не расскажу.

Хотя для этого у нас и заведён третий заход.

Я просто не созрел. Тёма зреет двенадцатый год — так, кажется, говорит обо мне Санёк, когда думает, что я не слышу.

Слышу, Саня. Всё я слышу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.